Олег СЕЛЕДЦОВ

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ

Былина

Сергею Павловичу КОЗУБЕНКО –
доброму, щедрому, великодушному русскому человеку,
истово работающему на благо нашей Родины и народа, посвящается.

Сегодня Алеша вдруг понял, что скоро придет весна. Хотя ничего еще в природе не сулило грядущего переворота. Сквозь густой кисель морозного тумана на горизонте лениво бросало в день подобие света то, что люди называют солнцем. Март истощал свое календарное благополучие, но морозец еще был в силе, еще запросто мог свалить на льдисто-белую небыль целую экспедицию втиснутых в надежную полярную экипировку ледовых разведчиков, еще шутя громоздил на усах, бородах, бровях и ресницах человеков прочные белые торосы, еще, проникая в равнодушные пустоты их ветхой одежды, сковывал волю так, что даже матерные проклятья выбирались сквозь синие губы в обмороженное небо лениво, нехотя, тут же замерзая и навечно вмерзая в северную зимнюю нежить.

Ближе к полудню белая ряска морозной пустоты являла миру очертания стен древнего монастыря. Каменные глыбы башен обители хоть и казались грозными айсбергами, однако не грозили житейским кораблям неминуемой гибелью. Наоборот, обреченные, потерявшие надежду новые обитатели древних келий, входя в монастырские врата, словно приободрялись, словно верили одно лишь короткое мгновение, что за бесконечной далью зимне-снежного поста может наступить пасхальная радость, которая сможет согреть и их. Нет, среди ютившихся в холодных каменных кельях было не так уж много истинно верующих, но это мгновение чистой по-детски веры в грядущее воскресение достигало

***Олег Валерьевич СЕЛЕДЦОВ**, поэт, прозаик, член Союза писателей России. Автор 24 книг стихов и прозы. Автор более 300 публикаций в российских газетах и журналах. Лауреат многих международных и всероссийских литературных конкурсов. Обладатель Золотого Диплома IX Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Заслуженный работник культуры Республики Адыгея. Награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского 3 степени и медалью Сергия Радонежского 1 степени, медалью Союза писателей России имени М.А. Шолохова.*

Живёт в Краснодаре.

сердец почти каждого впервые переступившего монастырский порог пришельца. Обители было лет пятьсот, а то и больше. Прочные каменные стены выдерживали натиск не только беспощадных морозов, но и прочно стояли на пути бесчисленных орд литовцев, поляков, шведов, немцев и кого-то там еще, в разные годы и столетия пытавшихся, минуя монастырь, набросить удавку на кремлевско-китайгородскую шею русского православного трудника. В обители было три храма, украшенных дивными фресками древних иконописных мастеров. Купола церквей надежными столпами поддерживали обмороженное небо, чтобы, равнодушное к бедам и горестям нынешних обитателей Православной крепости, не рухнуло оно на розовый от крови и слез лед северной русской земли. Стоят столпы. Без молитв, без литургического праздника. Низкорослые, словно наполовину ушедшие в землю от натуги. Тяжело, видать, держать небо-то. Хотя нет, не вросли они, все проще. Без крестов ведь, вот и кажется, что вдвое меньше стали. А коли без крестов, то ничего не осталось им во Вселенной, кроме как небо поддерживать. Говорить с этим небом они уже не могут. И колокольня не может. И какая она колокольня-то без колоколов? Вышка сторожевая. Вон на ней часовой с винтовкой. И в башнях часовые. Обитель, как и в прежние века, стала крепостью. Только раньше в нее не один враг не мог войти, а теперь ни один враг не выйдет. А и вышел бы. Куда деваться-то? Кругом льды, безмолвие и смерть. Вон если бы небо очнулось, если бы приоткрыло бы на миг свое зеркальное синеглазье, то увидел бы Алеша, как лежат на полях заснеженных, напрасно всматриваясь в высь мертвыми глазницами, убитые русские солдаты. И несть им числа. Страшная эпоха мертвых снов. Март сорок второго года. Время крадется по трупам.

К трупам Алеша привык. Со всего эшелона прибывших с ним по этапу заключенных теперь едва ли осталось в живых десяток человек. Люди умирают по-разному. Кто-то, устав на лесоповале, прислонился к несваленной сосне отдохнуть, да так и не поднялся; кого-то придавило этой же, уже истерзанной пилами, сосной, и он долго еще кричал от боли, пока не свела челюсть предсмертная судорога; кого-то, пытавшегося спрятать свое изголодавшееся, обмороженное тельце в наивных мечтах о тепле и хлебе далекого, почти не реального, счастливого мира, при побеге загрызли собаки; кого-то усладила бешеной лаской в висок горячая револьверная пуля; а кто-то просто не проснулся очередным утром – близнецом сотен других, серых, стылых, мертвых. К трупам Алеша привык. Лишь однажды забилось его, оказывается, еще умеющее сострадать сердце, и закрылись от неожиданного горя глаза трауром ресниц, когда ТЕ, в форме, заставили нескольких заключенных выкопать кости основателя обители. Когда-то, Алеша еще помнил об этом, подобное называлось – обретением. Когда мощи в еще не до конца истлевшем облачении были извлечены из дубового гроба, Алеша к радости своей услышал словно бы чудное пение, а с небес, еще не успевших закоченеть от осенней стыни, словно бы опустились ко гробу лучи неземного света. И так хорошо стало Алеше поначалу. Но подошли ТЕ, в форме, опрокинули гроб, перерыли остатки облачения.

Нашли лишь крест нательный из серебра и более ничего ценного. С досады один из ТЕХ схватил кости святого и бросил собаке. Та обнюхала, но грызть не стала. Тогда наземь полетел череп, и лоснящийся от сальной сытости сапог с размаху обрушил на него свое остервенение. Вмиг потух неземной свет, оборвалось дивное пение, а Алеша закрыл глаза, не пуская на волю большую, горькую, накопившуюся за все это страшное безвременье слезу. И не знал он, что рядом с ним с закрытыми глазами и бьющимися сердцами стояли еще трое ЛЮДЕЙ из десяти существ, собравшихся у развороченной могилы и имевших странное анкетное наименование – человек. Но это было еще в октябре. Потом пришли осеннее умирание и белая смерть ледяного отчаяния, и те трое, что плакали вместе с Алешей у оскверненного сокровища русских душ, растворились в стылом тумане январско-февральского равнодушия, а он выжил. И вот сегодня вдруг ясно почувствовал: скоро, вот-вот, начнется весна, и где-то, не в небесах, а в этом, обязательно в этом, очистившем себя страданиями мире светлые тени ушедших ЛЮДЕЙ воспоют Пасху. И никому: ни ТЕМ, в форме, ни Гитлеру, ни морозу, ни льдам, ни соснам, срывающим зубья бесчувственным пилам, ни часовым на башнях не удастся помешать этой пасхальной радости, торжеству над смертью того, что называют коротким, таинственным словом – Жизнь.

2

Иногда Алешу посещали сны. И было в этих снах все из другой жизни – не лагерной и даже не той, которая причудилась где-то там, до ареста, в забытом кино потерянной Родины. Сны эти были странны и горьки, как куст полыни, торчащий из ледяных глыб зимнего забытья. Снились Алеше ратники, закованные в крепкие брони, снилась борьба стрел в бескрайней синеве чужого, но очень родного неба, снился смертельный хрип ломающихся о щиты копий и раздавленных копьями щитов, снились степи, связанные пожарами, люди, приласканные цепями, кони, привязанные удалью к смерти. Дурны были эти сны и необычайно радостны. И никто не мог бы сказать, откуда и зачем так редко, но все же приходили сны к этому еще мальчику, умершему для жизни ДО и не воскресшему в жизни ПОСЛЕ монастырско-лагерной справедливости.

* * *

Князь Симеон снял латы, выпил чарку доброго вина и заспешил к реке, чтобы утешить утомленное летним зноем тело в прохладе речных струй. Здесь многолюдно. Почитай все войско на гульбище. Кольчуги и брони распластаны по траве, щиты лениво разглядывают осколки отражающихся в них небес, копья свалены в кучи, знамена, как скирды крестьянских покосов, боятся разве что дождей. Всюду пир и забавы. А и что не позабавиться-то? Почитай впервые удалось русичам собрать такое войско со времен проклятой Калки. Здесь в едином строю сошлись суздальцы и переславцы, юрьевцы и ярославцы, муромцы и москвичи. Эх, и разгуляются завтра

ратнички, покажут удаль свою богатырскую. Как в старые времена, при Володимире-солнышке да при сыне его Ярославе. То-то будет пир в городах русских. Да и сила у татар ноне не та, что при Чингисхане. Нет воев, подобных Батыю. Или Арапша-карла будет грозить Руси? Так на карлу и обижаться не след. Илья Муромец соловушку-разбойничка-то к луке седла привязывал. На потеху русскому князю. Что, стало быть, с несчастного карлы взять можно? Да и кто у Арапши в воях? Мордва неумытая. Войско такое же карликовое, как и сам Арапша. Завтра. Завтра наступит для карлы судный день. Загонят его русичи, как волка. Нет, как шакала, для волка-то он маловат будет. Утром сторожа донесла, что Арапша в панике отходит к Волге. Не будет сражения. Так, забава охотничья. Вон Ваньша, Димитрия Суздальского сынок, с ярославцами заячьей ловлей тешатся – завтрашний день готовят. Вот так же Арапшу косого, как косого зайца, изловят завтра русичи, а там – держитесь, ханы ордынские. Идет расплата за полуторавековые обиды, за церкви поруганные, за города спаленные, за женщин снасилованных, за отроков посеченных, за детушек полоненных. Теперь поднимется Русь. Развернет знамена свои, взметнет церкви до самого неба, достав крестами за облака. Появятся на Руси ратники умелые, богатыри, былинные витязи, что с мечом в мир рождаются, а с крестом его покидают. Многое теперь начнется, что в полоне и сниться не могло. Завтра разобьем Арапшу, а там и великий князь из Москвы ополчением потрафит. Конец игу, конец полону горькому. Радуйся и веселись, земля русская, войска твои несут на копьях победу!

Князь Симеон нежит тело в ласковой влаге реки. Хорошо, благостно! Травный аромат пьянит. А может, это третья чарка доброго вина голову кружит? Или речка? Не зря ведь ее Пьяна называют. А и пусть пьянит. Сегодня можно. Сегодня ратники гуляют. Вон как весело резвятся суздальцы. Как дети малые. Возню потешную затеяли. Бегут. Все бегут. Куда бежите-то? Куда? Вместо ответа слышит князь Симеон хоровое пение стрел. Вместо ответа видит тучу надвигающихся копий. Вместо ответа сотнями ложатся на поле поверх щитов, копий и кольчуг русские ратники. В одних рубахах, на глазах меняющих цвет с белого на красный. Откуда? Почему? Зачем? Арапша с мордвой ударил с пяти сторон. Не знает карла слов: пощада, милость. Без счета кладет русичей на бранную скатерть смерти. Рубит мечами, нанизывает на копья, награждает стрелами, топчет конскими копытами, сжигает огнем. Нет боя. Так, забава охотничья. Лишь суздальцы Иоанна Дмитриевича, что зайцев загоняли, пытаются рубиться да стрелами огрызаться. Но что одна стрела на тысячу? Что меч против копья всадника? Бегут русичи. Бегут. Куда? Князь Симеон уже на траве. В руке меч. Чужой, непривычный. Братья! Куда? За Русь. За Русь!! Умрем без позора. Обломаем мордовские копья о наши богатырские тела. И пошла сеча, и начался пир. Ах, речка Пьяна, тот червь, кто не пьян битвой на берегах твоих. Жива Русь. Жива! Веселей, братья! Победа с нами. Стой! Куда? Дрогнули суздальцы, ринулись прочь, ища пощады в пьяных кровью струях реки. Но не знает Арапша-карла ничего о пощаде, и уже всосалась черная стрела в белый висок плывущего Иоанна

Дмитриевича, уже иссечены без остатка ярославцы и юрьевцы, уже несут на своих плечах к реке Пьяне неприятеля переяславцы и муромцы. Но этого уже не увидит князь Симеон Михайлович. Безголовый лежит он на берегу пьяной реки, средь остатков дикого безумного пиршества, где главный кубок в честь победы поднимает над русской землей исполинского роста косоглазый карла. И от величия его фигуры содрогнулся Нижний Новгород, застонала Рязань и пошатнулась в испуге Москва, и где-то во псковской земле всплакнул печальным басом сиротливый набатный колокол. Но кто услышит его? Где, Русь, твои витязи? Где богатыри твои – воины-монахи? Нету их. Плачь, Русь, если только остались в твоих синих глазницах последние капли чистых русских слез.

А на Нижегородчине так до сих пор и говорят: «За Пьяною люди пьяны».

3

На валке леса Алеша работает в паре с отцом Константином. Смешной старичок. Седенький. Бородка и жиденькие волосенки торчат в разные стороны, как поредевшие лучики солнышка. Сам – добряк! Мухи не обидит. Перед тем, как сосну пилить, обязательно попросит у Боженьки прощения за то, что живое существо губит. Пилит, а сам слез сдержать не может. От того и глаза у него постоянно красные, воспаленные. Лагерники его любят. Казалось бы, такого кто угодно обидеть может, убогого-то. Ан нет. Всяк-то ему рад. Любого утешит, последним сухариком поделится, каждому слово найдет ласковое, что только и нужно в эту минуту исстрадавшейся душе. Отец Константин молится по ночам. Так, чтобы не видел никто, чтобы не мешать никому. Ему бы поспать, утомился ведь за день. А он ждет, пока все уснут, – и на молитву становится. Молится истово, слезно. Потом ложится на свои нары и долго еще всхлипывает во сне. Часто его лагерники задирают. Беззлобно, полушутя:

– Ты как, отец, в лагере-то очутился? Небось десятка два архангелов с винтовками на тот свет отправил или колбасы в страстную пятницу пережрался?

Отец Константин смеется. Звонко, по-детски, растягивая губы во весь рот, обнажая редкие зубы. От души посмеявшись, вдруг всхлипывает и говорит, еле сдерживая проступающие рыдания:

– По грехам моим награда. Нерадив был в служении. Молитву устами творил, а надо бы сердцем.

– Чего же ты, отец, такого намолил, что десять лет заработал? Плохо, видать, гепеушники к твоим молитвам прислушивались. Ты твердишь: «Подай, Господи!» – а им мнится: «Вот приперлись-то». Ты возглашаешь: «Вонмем!» – а им слышится: «Вон, вы!» Ты произносишь: «Со страхом приступите» – а им кажется: «На... вы пойдите».

Все смеются, громче всех отец Константин. За два года в лагере он так никому толком не рассказывал, почему и за что он здесь.

– Поделом мне. На все воля Божия. Не о том нужно думать, как здесь очутился, а о том, как здесь жить, – вот и все его ответы.

Раз как-то в партии новичков нашелся блатняк, молодой еще парень, но успевший уже несколько

раз отмотать сроки за воровство. Кличка у него была Комар. Это, стало быть, за воровское признание его талантов. Карманник отменный. Кошельки вынимал, не скромничая, с закрытыми глазами, на запах денежный. Потом уж граждане, лишившиеся этих кошельков, чесались от горя. Да поздно. Комар свое дело сделал. Денежки уплыли. Хорошо жил Комар на воле. Иногда только борзел, когда после удачного дня банковские бумажки швырялись им в морды официантов лучших ресторанов Москвы. Тогда, перебрав лишнего, выливал Комар хороший коньяк на лысую голову какого-нибудь описавшегося папика, бил посуду и переворачивал столы. За это и приезжали за ним вооруженные товарищи. Это потом, при личном обыске, находились у него золотые часы с дарственной надписью царского министра профессору Никольскому, серебряный портсигар, пропавший у служащего банка Петрусенко, бриллиантовая брошь, снятая третьего дня с гражданки Аксельрод. За то и шел Комар в очередной раз загорать на курортных лагерных нарах. На работе же своей Комар ни разу не засыпался. Властям, кстати, грех было жаловаться на деятельность карманника-рецидивиста. Социально надежных граждан он не грабил, а вот к господам Никольскому, Петрусенко и Аксельрод у компетентных лиц появлялась лично-служебная заинтересованность. Однако в нашем повествовании судьбы означенных граждан не имеют какого-либо значения. Гораздо талантливее нам о них сможет написать Борис Донцов-Пелевин из города Смоленска – и пусть пишет. Мы же, не претендуя на лавры талантливых прозаиков, вернемся в сентябрь сорок первого, когда прибывший с этапом в Севлаг Комар решил, что лучше всего вытирать запачкавшиеся руки благородного вора о подвернувшиеся жиденькие волосенки смешного старичка из политических. Конечно, Комара уважали, но такое обращение с отцом Константином лагерникам не понравилось. Пришлось вежливо объяснить ему права и обязанности обитателя монастыря. Комар осерчал. Над кельями лагерников стали сгущаться грозовые тучи. И тогда отец Константин сам пришел к щипачу.

– Вот, сынок, тебе мои волосы. Они редки и не стоят того, чтобы вокруг них горели страсти.

– И что?

– И блудница отерла волосами ноги Христа, а уж я, грешник, за счастье почту для этого свои волосы предъявить.

– Я-то не Христос.

– А крещен?

– Ну.

– Причащался Таин в детстве?

– Само собой.

– Что ж ты Христа-то в себе убиваешь?

– Хе. А ты никак проповеди мне читать собрался? Ну-ну.

– Прости, сынок, если обидел. А тебя Бог простит.

– Это за что же?

– За то, что над стариком ругаться хотел. У тебя отец-то есть?

– Ну, был.

– А если бы ему о волосы кто руки вытирал?

– Ну ты... Ладно, дед, это... Шел бы ты.

– Вот и славненько. Ты сегодня утомился. Вот погрызи сухарик.

– Это ты что, дружбу у меня покупаешь?

– Дружбу? Дружбу-то купить можно. Сердце человеческое,

Богом данное, никаким сухарем не выкупишь. Так-то. Ладно, отдыхай.

Заулыбался своей лучистой улыбкой и заспешил восвояси. И, может, задели слова смешного старичка матерого ворюгу за живое, а может, по какой другой причине, только не позволял себе больше Комар выходки, подобной той, с волосами.

4

До ареста отец Константин служил в сельском приходе. Храм в Ладном Бору – так называлось село – был каменный, двухэтажный. Главный купол золоченый, кресты золотые. Такому храму и в городах позавидуют, и не только уездных. Во всей губернии нет такой церкви. Говорят, еще при Алексее Михайловиче строилась. Главный престол был освещен во имя великомученика Пантелеимона. Был такой святой на заре христианства. Врач был искусный, людям помогал, а плату за врачевание не брал. Таких называют бессеребрениками. За веру мучили его шибко, страшным пыткам подвергали, чтобы, стало быть, отрекся он от Христа. Почему бы и не отречься. Жил бы себе в свое удовольствие. Придворным лекарем мог бы стать. А он и мысли такой допустить не мог. Жить, конечно, хотелось. А кому не хочется? Но жить без Христа для него было хуже смерти. Не отрекся. Казнили его лютой казнью. А он смерть принял как награду. Счастливым умер. Но вот что интересно, сотни лет прошло. Что там люди – целые города и страны успели погибнуть. Кто вспомнит имена палачей? Да и царя-мучителя того времени разве только историки помнят, а имя Пантелеимона живо в сердцах людей. Церкви возводят, деревни называют... Возводили, называли...

Отец Константин вновь приходил в себя. Любил он посидеть после службы в храме на крылечке своего дома, пока матушка Елена разжигает самовар, раскладывает варенье по блюдечкам, достает пироги из печи. Любил отец Константин помечтать, порассуждать о жизни былой, о вере отеческой. Больше всего на свете хотелось батюшке увидеть на Пасху полный храм народу, да чтобы колокола гудели полногласием, возвещая миру пасхальную радость, да чтобы свечи в руках людей сливались в ночи единой, полноводной рекой пошире Лебедянки, да чтобы... Уполномоченный обещал к престольному колокола поснимать, а к Преображению и вовсе церковь закрыть. Да и то. Народу ходит все меньше. В основном бабы да старики. Хотя вон старый Митрофан вторую неделю не ходит, говорят, ему предлагают войти в правление колхоза. А что? Положительный, работящий, за воротник не закладывает. Верующий только, но это дело поправимое. Верить с умом нужно. В хорошее что-то, не в сказки про Боженьку. Лучше в торжество светлых идеалов социализма. Бог судья Митрофану-то. И все же обидно. Отец его, кстати, Пантелеимоном прозывался. В честь нашего святого. Люди говорят, хороший был человек, благочестивый. Все посты, все праздники чинно соблюдал. Старостой при церкви был, от архиерея благодарности имел. Да. А сын его теперь – с правлением колхоза с этой церкви колокола сбрасывать. И ведь никто не заставляет. По доброй

воле. Эхе-хе! Отец Константин вздыхает, по-детски всхлипывая. Вот закроют церковь, а как же он? Как же дальше жить-то? Батюшка обиженно кривит губы и кулачками размазывает по щекам бегущие слезы. Не за себя волнуется отец Константин. Что он? Проживет. Народ, селяне, соседи, не дадут с голоду умереть. Работы никакой он не боится. Будет и пахать, и сеять. В колхоз вот только не пойдет. С саном туда нельзя. А сан с себя слагать батюшка не будет. Ни за что. Это как же? Даже думать о таком страшно. Это не шляпа ведь какая. Прохудилась – бросил, новую купил. Духовный сан вечен. Он от апостолов, от самого Христа дается. Как от такого отречься? Лучше кожу пусть с него сдерут, с живого, но раз уж он поп, попом и помрет.

Отец Константин уставляется взглядом в мохнатое белое облачко, с виду напоминающее самого батюшку. Широко открывает глаза, изгибая брови в крутые печальные дуги. Так сидит он какое-то время, пока матушка Елена, еще не знающая о грядущих бедах сельской церкви – а и зачем ей до времени это знать, – не выходит на крылечко позвать мужа к чаю. Услышав шаги матушки, отец Константин излечивает свое круглое личико лучистой улыбкой, стесняясь, чмокает жену в щечку и семенит следом к столу. За ужином в окно стучат. Батюшка радостно хлопает в ладоши.

– Гости. Гости! Незваные – самые дорогие. Прими, матушка, как раз к чаю.

В светелку входит дед Митрофан – член правления колхоза.

– Мир вашему дому.

– С миром принимаем. Входи, входи, Митрофан Пантелеевич.

Дед Митрофан с некоторых пор изменил свое отчество. Так и в анкетах пишет, так и односельчан просит себя называть: Пантелеевичем, а не Пантелеймоновичем. Не так старорежимно звучит. Вообще-то он дед хороший, работящий, не злой. Да слишком много читает в последнее время газеты. Однако вольному воля.

– Благослови, отче, – просит дед Митрофан, но как-то холодно, глаза прячет.

– Бог тебя благословит, – радуется отец Константин, налагая на гостя крестное знамение. – Проходи, гостюшка, мы как раз трапезничаем.

– Нет. Прощения просим. Недосуг мне чаи гонять. Я к тебе, отче, по делу. Слышал, небось, что церкву закрывать будут?

– Ах, Митрофан Пантелеевич, и не говори. Я вот тут...

– Подожди, отче, я это... предупредить хочу. Ты не вздумай чего такого там... Конечно, люди тебя уважают, любят даже. Но. Такое дело. Лучше бы тебе уехать на время.

– Это как же уехать-то? А кто же на праздники служить будет? Престол. Смоленская. Преображение. Да и пост грядет.

– Смотри, отче, как бы пост этот для тебя не затянулся. Есть такое мнение у губернских товарищей. Однако я сказал, а тебе решать. И вот еще что. Я шел по селу, вроде никто меня не видел. Ты уж, если что, не говори никому, что я к тебе заходил.

– Что ты, Митрофан Пантелеевич, – по-доброму улыбается батюшка. – Спасибо тебе за совет и доброе слово. Чем бы тебя одарить на дорогу?

– Не надо, – спешно цедит гость и, кратко прощаясь, выходит вон.

Отец Константин боится взглянуть на жену. Вот ведь. Ненароком все и узнала.

– Матушка, а что вареньице – этого года?

– Этого.

Голос матушки грозен. Отец Константин жмурится, съеживается и почти залезает под стол. Разговор лучше не продолжать. Строга супруга у батюшки. Строга, но справедлива. Закрытыми глазами он видит, как, разъяренная, подходит она к нему. Сейчас будет взбучка. И вдруг чувствует мягкую теплую ладонь на своей седенькой голове, открывает глаза. По все еще красивому морщинистому лицу матушки Елены текут слезы.

– Вот и дождались мы, Костенька.

«Костенька». Так не называла она его лет уже... С женитьбы. Как были они молоды и счастливы. И кто бы мог подумать, что на старости лет кто-то будет им запрещать, выгонять, угрожать? Жалко матушку. Он-то ко всему готов. А она? Чем она-то виновата? Тем, что всю жизнь была верна? Что, сердясь, порой покрикивая, несла тем не менее на своих плечиках тяжкий крест жены приходского священника в суровое, несправедливое междувременье? Что и сейчас готова разделить со своим «Костенькой» грядущие испытания неизвестностью? Что поворчит, но не уедет, останется с батюшкой до конца? Какого конца? Неужели все так серьезно? Да не сон ли это? За что? За что?! И такой жалостью наполнилось вдруг сердце отца Константина, что не в силах был он сдерживать ее в себе. Пролилась она густыми, горькими струями, и не было у батюшки сил размазывать их по щекам своими натруженными кулачками. Так и сидели они до глубокой ночи, рыдая друг дружке в плечи. Старенький сельский батюшка и его верная добрая жена – а на другом конце села, так же до глубокой ночи, цедил из стакана самогоночку с капавшими в нее слезами, злясь на попа, на председателя колхоза, на безответную свою старуху и, более всего, на самого себя, член правления Митрофан Пантелеевич – бывший Пантелеймонович. И была ночь. И было утро. День обычный.

На Преображение церковь опечатали. Иконы вынесли, сложили в кучу. Оклады, потир, дароносицу, медные подсвечники, рипиды увезли в город. К Успению обещали свалить крест, а может, и купола. Говорят, в церкви будет зернохранилище. Ну что же, пусть так. Только бы не танцевальный клуб. Батюшка не уехал. Почти до Рождества служил у себя на дому. Причащал запасными дарами, крестил, отпевал. В первых числах нового тысяча девятьсот сорокового года отца Константина арестовали. Матушка осталась одна. Затосковала, высохла вся, и к осени забрал ее Господь в светлые свои селения. Отец Константин об этом не знал.

Вот такой человек и был напарником на лесоповале в Севлаге у совсем еще молоденького заключенного Алеши, прозванного лагерниками, не без оснований, Поповичем.

Алеша был сыном сельского диакона, уважаемого человека, расстрелянного по доносу за участие в контрреволюционном мятеже. Был или не был там мятеж, установить теперь трудно, а только в самом начале коллективизации весьма большая группа сельских середняков и вместе с ними настоятель, диакон, староста и псаломщик Успенской церкви были арестованы и казнены как враги мировой революции. Алеше тогда не было и годика, так что отца он не помнил, но отчего-то никогда не считал его врагом. Мама Алеши пережила горе стойко. Поплакав в меру, собрала кое-какие вещички и уехала в город к одинокой тетке, единственной сестре своей матери. Та приняла гостей без особой радости, но прогонять не стала. Так и жили они втроем. Мать прачкой устроилась, тетушка на фабрике трудилась, а Алешка по углам тетушкиной комнаты прятал свое невеселое детство. Друзей у него не было, да и не стремился мальчик их заиметь. Тихий был, замкнутый. Однажды нашел у тетушки в сундуке доску тяжелую, а на ней в тусклых красках Женщина проступает с Младенчиком на руках. Красивая, но печальная. Жалко стало Алеше Женщину эту. Чего это лежит она в сундуке? Небось, темно, страшно. С трудом вытащил Ее из кованого плена, чуть не надорвался. А тут солнышко из окошка плеснуло в комнату золота и как раз на Женщину с Младенчиком попало. Как засияли краски. Ожила доска. Младенчик встрепенулся радостный, и Женщина уже не так печальна. Алеша от восторга в ладоши захлопал и на ножках запрыгал. Смеется, как в бубенцы звенит. Уже и солнышко за тучку спряталось, а Женщина с Младенчиком все так же красивы в волшебных переливах красок. Живые, добрые. Кто же эта Женщина? Кто чудный Младенчик? Может, это бабушка? Алеша никогда не видел свою бабушку. Лишь по маминым рассказам знал, что была она доброй и (очень трудное слово) благо-чес-тивой.

– Здравствуй, бабушка, – робко сказал Алеша, наглядевшись на дивную доску.

И показалось ему, что Женщина отвечает. Забилось от восторга детское сердечко. Стал он разговаривать с БАБУШКОЙ. Так до вечера и проговорил, увлекся, не успел доску обратно в сундук убрать. Тетушка руками всплеснула, поворчала порядком, строго-настрого запретив в сундук лазить. Алеша загрустил. Спать лег печальный. Мать, уставшая, перед сном его поцеловать наклонилась

– Ты что, Алешенька? Не заболел ли?

– Мама, а кто эта Женщина? Это бабушка, да?

– Нет, мой мальчик. Это наша Мама.

– Твоя мама? Значит, моя бабушка?

– И моя Мама, и тети Нюры, и твоя тоже.

– Но ведь ты моя мама. Правда?

– Да, сыночек. Ты спи. Я тебе потом все объясню. Как вырастешь.

Алеша печально вздыхает. Очень уж все сложно, непонятно. Мальчик вспоминает чудесную Женщину на доске, и постепенно тихая радость, как давеча через окошко, вплескивается в его

детские сны и играет в темном квадрате комнаты золотыми ласковыми красками. Завтра он вырастет, и мама все объяснит ему. А он все поймет, он же уже большой. Завтра. Все будет завтра. Мальчик спит, а из окна на сундук, а может, и наоборот, струится таинственный серебряный свет. Завтра...

А завтра случилась беда. Алеша хорошо помнит, как незнакомые люди, страшные оттого, что незнакомые, внесли в комнату маму. Уложили на кровать. Мама. Она была, как всегда, самая красивая, самая добрая, только дышала тяжело, хрипло, и на губах ее пузырилась красная влага. И Алеша закричал. Не вслух, нет. Внутренним, надрывным криком, от которого содрогнулось все его худенькое, маленькое тельце. Не смог устоять на ногах от этого крика, рухнул на колени, выпустив на волю ливневые потоки слез.

– Мама. Ма-ма...

– Алешенька, подойди... Мальчик мой... Сыночек... Крестик на тебе? Не снимай его... слышишь?.. Вручаю тебя Матери Божией... Царице нашей небесной. Ты ведь... знаешь Ее... Не оставит Она... Сыночек... Прости...

Так и остался Алеша один. Хотя, не один, конечно, с тетушкой. И пусть приходилась она ему двоюродной бабушкой, называл он ее всегда тетей. Тетушка ворчала иногда, но больше жалела мальчика, привязалась к нему как к родному, баловала. Иногда конфеткой, иногда пряничком. Так и жили. Пошел Алеша в школу, учился хорошо, но пионером не стал. Когда прием назначили, заболел он. Так уж получилось. Да и не хорошо это было бы – Алеше стать пионером, он ведь в церковь ходил, и не то чтобы скрывал это, но и не трепался по этому поводу. А в церковь он попал случайно. В городе был еще действующий храм, который манил и пугал мальчика. Пугал запретностью, рассказами учительницы, плакатами и стихами Маяковского, а главное – неизвестностью, тайной, недоступной его, Алешиному, уму, тайной, в которой Алеша мог знать только два слова: «жизнь» и «смерть». Второе особенно пугало мальчика. Почему-то после смерти мамы понятия «церковь» и «кладбище» стали для него синонимами. Где смерть, там и поп. И мама его была верующей и умерла. И отец был диаконом и умер. И он умрет, если переступит порог этой тайны, укрывшейся за голубым пятикупольем. Но храм манил Алешу. Манил той же самой неизвестностью и той же запретностью, а главное – казалось мальчику, что в страшной церковной тайне однажды откроется ему нечто такое, что невозможно узнать, почувствовать, увидеть на уроках в школе, в кинотеатре «Ударник» или в пряниках тетушки. Алеша, противясь здравому разуму, рвался в храм, чтобы однажды обязательно встретить там маму и убиенного отца. Обязательно! Так будет. Так должно быть. А почему? Алеша не знал почему, но продолжал тайком бегать в церковь, куда зашел однажды, переступая не через ступени паперти, а через свой страх, сомнения и запреты... И в храме ему понравилось.

В пионеры его так и не приняли. Как-то прознали в школе об увлечении учащегося Алексея Леонтьева религиозными предрассудками. Над головой мальчика разразилась гроза. В вину Алеше ставилось даже не посещение церкви, в конце концов страна у нас

свободная, и каждый может верить во что захочет, раз уж он такой дурак и не видит грядущей неминуемой победы коммунизма. В вину Алеше ставилось не посещение церкви, а то, что он скрыл это от своих товарищей, от учительницы и от вожатого. А ведь его хотели даже принять в пионеры. Если бы не болезнь. А уж это был бы прямой подрыв авторитета школьной пионерской организации. Представляете, в какое положение попала бы школа, если бы в городе узнали о том, что в организацию юных ленинцев приняли религиозного лазутчика, поповского сынка. О том, что Алеша диаконский сынок, школьная администрация тоже узнала не сразу. Тетушка, отводя мальчика в первый класс, записала в анкетах: «Сын погибшей прачки и крестьянина». Происхождение самое что ни на есть рабоче-крестьянское. А оказалось, что папаша-то этого маленького двуличника вовсе никакой не крестьянин, а враг советской власти, поп, вредитель колхозного движения. Тетушку арестовали. Алешу отправили в трудовую колонию. Здесь с него сорвали нательный крестик. Здесь Алеша узнал, что Бога нет, потому что и быть не может. Здесь Алеша понял, что церкви – оплот контрреволюции. Здесь паренек осознал, что Родине нужны станочники и металлурги, а не попы и дьячки. Здесь он уяснил, что рабочему классу не нужны иконные угодники, а нужны реальные герои труда, что пролетариат к светлому завтра ведут не мифические архангелы, а вожди рабоче-крестьянской революции. Стал Алеша токарем. По профессии. А по духу так и не стал. Не было у власти больше доверия к поповскому сынку, как ты тут ни старайся. Единожды солгав... Словом, когда в механическом цехе случился пожар, искать виновника не пришлось. Арестовали двоих – диаконского сына и начальника цеха, допустившего вредителя к станку. Так Алеша вновь переступил порог храма. Монастырского, древнего, лишенного крестов и права называться монастырским. А было пареньку без малого восемнадцать лет.

6

День, когда Алеша почувствовал приближение весны, ничем особым не отличался от легиона подобных стылых и мертвых, но именно в этот день случилось то, из-за чего, собственно, и начали мы свое повествование. Март сорок второго года в стратегическом отношении для истории второй мировой ничем особым не выделялся. Битва за Москву, победная для Советского Союза, завершилась чуть раньше, а Сталинградская и Кавказская эпопеи начнутся чуть позже. Но война есть война, здесь каждый день может обернуться для бойца своей собственной Сталинградской битвой. Где враг напирает с двух сторон, боеприпасы на исходе, а отступать нельзя – советский солдат не трус какой-нибудь и приказ Сталина: «Ни шагу назад!» – помнит свято. Умрет, но ни пяди родной земли фашистскому зверю не отдаст. И умирали солдатики. Под Москвой, под Сталинградом. Умирали и в марте сорок второго. Велика Россия. Помереть, слава Богу, есть где.

В этот день Алеша с отцом Константином на валку леса не

пошли. Их бригаду оставили в лагере рыть котлован для большой братской могилы. Суровая северная земля была губительна для многих лагерников. Но хоронить их в стылой земле было непросто. Лагерное начальство решило до поры складывать трупы в бывшем хозяйственном корпусе монастыря. Окоченелые, они могли без тления сохраняться до весны. Правда, к концу марта усопших стало что-то уж слишком много, и откладывать их погребение было для начальства нецелесообразно. С таянием снегов могли начаться эпидемии. Решено было выдолбить подле монастыря братскую могилу и к семьдесят второй годовщине вождя мировой революции полностью очистить Севлаг от посдыхавшей контрреволюционной сволочи. В Алешиной бригаде работали семь человек. Здесь был знакомый уже нам вор-карманник Комар – на правах бугра, двое бывших вояк – танкист и летчик, попавших в лагерь с фронта за дезертирство и порчу государственного имущества соответственно, учитель-еврей, имевший неосторожность в свое время поменять фамилию Бронштейн на звучную до поры Троцкий, и, когда его знаменитый однофамилец стал злейшим врагом советского государства, менять фамилию обратно было поздно, а оправдаться, что никакой симпатии у бедного еврейского учителя к вражеской гидре не было, что замена фамилии – чистая случайность, было уже невозможно. Седьмым в бригаде был пастух с Кавказа, зарезавший, чтобы накормить троих украинских голодных сироток-беженцев, колхозную овцу.

Мерзлая, окаменевшая земля с большим трудом отверзала копателям свое чрево. Бригада работала уже часов пять, а котлован был еще смехотворно мал. Начхозчасти майор Золотухин премного нервничал. Доходяги работают, как мухи в конце октября, а холод такой, что, того и гляди, сам ноги протянешь. Этим хорошо – долбят себе, греются. Караул – и тот меняется. А ты следи здесь за вражиной, старайся для жмуриков. Люди вон на фронте медали получают, ордена, а ты тут, того и гляди, ревматизм получишь, а то и похуже чего. Эх, была ведь у него возможность попасть в армию командиром заградотряда, жена отговорила. Убить, мол, могут. Война и все такое. И поехал на войну этот выскочка капитан Арсентьев. Так уже орден имеет Красного Знамени за успешные боевые действия при осенней передислокации наших к Москве. Золотухин с досады сплевывает, изучает, как плевок его почти мгновенно обращается в комочек льда, затем обреченно переводит взгляд на туманную солнечную тусклятину и... застывает на месте, подобно собственному плевку. По склизкому мареву мартовского неба гроздьями спускаются белые одуванчики парашютов. Их много. Десятка два. Даже больше. Что это? Маневры? Десант? А если десант, то чей? Наш, а может... И куда смотрит часовой на башне?

Часовой ошарашен не меньше майора. Он наблюдает за происходящим, словно за фильмом в кинотеатре. Он хорошо знает, что делать, если из лагеря попытаются сбежать, но ведь сейчас никто не бежит. Да и десант приземляется не в самом лагере. Однако по уставу нужно доложить начальству. Часовой хватает трубку телефона:

– Товарищ начальник караула! В пятидесяти метрах от охраняемой зоны совершает посадку

группа парашютистов в маскировочных халатах... Не могу знать... С автоматами... Нет, не русскими... Есть действовать по уставу!

Парашютистов заметили и лагерники.

– Братцы, никак немцы? Точно немцы. Что же это?

– Эх, винтовку бы.

– Куда часовой-то смотрит?

– А может, маневры?

– Кой леший маневры! Чего им во фрицев рядиться?

– Куда наши-то смотрят?

– Начальник, майор, не видишь, что ли? Немцы!

Немцы. В это трудно поверить. Конечно, идет война, конечно, льется кровь. Но ведь на многие километры отогнали бойцы и командиры Красной Армии фашистов от стен древнего кремля. Как же смогли они оказаться здесь, под стенами не менее древнего монастыря? Куда смотрели наши? Где был капитан Арсентьев с его заградительным отрядом? А может... Майор начинает что-то понимать. Может, это проверка? Ну да, проверка бдительности и боевой готовности Севлага. Золотухин достает из кобуры пистолет, встает в полный рост и движется навстречу приземлившимся парашютистам.

– Приказываю остановиться! Именем Союза Советских Социалистиче...

– Че-че-че-че-че, – передразнил его немецкий автомат.

Майор удивился и, переломанный пополам, рухнул в свежевырытый котлован.

Эх, и зачем он не уехал на фронт? Лежи теперь в этой яме с лагерной падалью. Но как же лагерники? Они ведь могут теперь сбежать. Их же никто не охраняет! Побег? Нет, он не допустит этого. Всех перестреляет. Долг нужно выполнять. Майор пробует поднять пистолет, но руки уже не принадлежат ему, да и пистолета нет. Затерялся где-то в мартовском киселе безвременья. Нет и лагерников, и немцев, и часовых. Монастырь есть. Глаза майора, широко раскрытые, по-прежнему удивленно глядят на башни обители, но вот и они, словно мираж, растворяются в снежно-морозном мареве. Над Золотухиным склоняется мальчуган. Забавный. В белой сорочке. Кудрявый.

– Уходи, уходи отсюда. Здесь нельзя детям.

– Не бойся за меня. Ничего не бойся. А вот я тебе спою.

– Как хорошо, как чудно, как знакомо. Так пела мама. Давно. Очень давно. Кто ты?

– Я – это ты, а ты – это я. Таким ты был в детстве.

– Странно. Значит, я уже убит?

– Убит. Но не бойся. Ничего не бойся. Коли я с тобой, значит, есть надежда. Лучше я буду тебе петь.

Чудное пение заглушает ругань автоматов и жалобы стонущих от ран. Майор не слышит, что у стен монастыря идет бой. Бригада лагерников давно лежит в котловане. Они живы. Все. Без особой команды, после первой же автоматной очереди попрыгали в свою неглубокую свежевырытую мерзлую могилу, на труп бывшего майора. Вжались, примерзли к земле. Часовой на башне открыл стрельбу из винтовки. Не попал ни разу, но продолжает стрелять. Наконец-то подоспели караул и все командиры Севлага. Бой длился около получаса. Все это время бригада лагерников лежала в могиле. Когда огонь стих, до слуха доходяг долетели фразы на чистейшем русском языке:

– Эй вы, живы? Вставайте, господа, вставайте!

С трудом отрывая себя от колючек вечной мерзлоты, стали подниматься. Не все. На дне котлована остались майор и танкист. Сытый человек в немецкой форме, обращавшийся к лагерникам по-русски, окликнул лежащих еще раз.

– Бедняги. Жертвы сталинского террора.

Он навел автомат и послал в обоих по короткой очереди.

– Чтобы не мучились.

Но убитый майор и замерзший танкист уже не испытывали мучений. Их грешные души были уже далеко от пуль и мороза, от немцев и русских, от войн и лагерей, от Сталина и Гитлера, от жизни и смерти.

– Господа. Всем заключенным немедленно построиться на плацу! Живо. Живо, господа!..

Со стороны лесозаготовок еще одна группа немцев пригнала всех вальщиков. Севлаг выстроился на соборной площади монастыря. Казалось, что начиналась обычная вечерняя проверка. Только вместо бойцов НКВД на их же местах расположились теперь солдаты и офицеры в немецкой форме.

– Господа заключенные! Мы, солдаты доблестного вермахта, пришли сюда не для того, чтобы убивать и истязать вас в бесчеловечных сталинских тюрьмах. Мы несем свободу народам России. Свободу от коммунистов и евреев. Свободу от палачей Сталина, Молотова и Берии, тех, кто уничтожает русских трудолюбивых работников. Эта свобода нужна не великой цивилизованной Германии. Она нужна вам. Вы, несправедливо обиженные, истязаемые, расстреливаемые, должны, наконец, стать настоящими хозяевами России, должны строить цивилизацию по германскому образцу. Вся Европа раскрыла объятья свободе. В нашей армии против большевиков-евреев доблестно сражаются болгары, хорваты, румыны, венгры, украинцы, русские – все, кому не безразлична судьба Европы, судьба России. Вы должны свергнуть гнет жидо-большевизма. Германское командование готово помочь вам в этом. Помочь оружием и бесценными жизнями немецких солдат. Отсюда, из северных концлагерей, – страшного символа сталинской тирании, – начнется освобождение России, начнется торжество гения немецкой цивилизации.

– Вот суки, красиво излагают, – криво, сквозь зубы, сплевывая, протянул вполголоса из своей шеренги Комар.

– Винтовку бы, а лучше автомат, – так же тихо отозвался кто-то.

– И что бы ты сделал? Красиво умер бы за Родину и Сталина?

– А ты что, с ними пойдешь?

– Ша. Я честный вор. Я Родину не продавал. С господами фрицами у нас разные дороги.

– А ведь у немцев-то тоже потери есть. У бывшей трапезной сложили, значит, и с ними воевать можно, – это вмешался в словесный полушепот учитель Троцкий.

– Ага. Особенно тебе. Слышал, как они евреев-то жалуют?

– Господа! В ходе блистательной операции нашего отряда были захвачены в плен начальник вашего лагеря и два офицера караула. Сейчас на ваших глазах мы свершим над ними акт справедливого возмездия.

На площадь вывели полковника Зиновия Каца, без шапки, почему-то без обуви, в одних шерстяных носках. Один из караульных командиров, следовавших за

своим начальником, был ранен, поддерживал красного цвета плечо, но не стонал, а растянул губы, словно глупо скалясь по поводу неуместной шутки своего командира. Бывший начальник лагеря держался достойно. Расстреляли их без особых церемоний. Сцена казни не произвела на лагерников почти никакого впечатления. Только из шеренги рядом с Комаром давешний голос протянул:

– Эх, автомат бы.

Комар снова криво сплюнул сквозь зубы, отец Константин осторожно осенил себя крестным знамением. Алеша вытаращился на лысый купол собора, стараясь высмотреть давно казненное семиконечное завершение. И только один человек спокойно, слишком спокойно, почти вслух произнес:

– Ничего. Мы еще повоюем.

Под его бушлатом покоился на груди табельный пистолет майора Золотухина. И как это в суматохе немцы не обнаружили пропажу оружия? Конечно, с одним пистолетом против двух десятков автоматов не попрешь, но бывший старший лейтенант, летчик-истребитель Игорь Антифеев снова имел оружие, которое недавно у него справедливо отобрала Родина. Теперь-то он не струсит, теперь он за все оправдается, теперь он отомстит за Мишу Стругунка, и за ребят погибших, и за себя. А свое он уже получил. Хотя за гибель Миши ему до смерти не оправдаться. Перед родителями Миши не оправдаться, перед детьми его, которые не успели родиться.

Как он мог? Как же он мог?

7

Этот вопрос заключенный Антифеев задавал себе каждый день уже восемь месяцев. Все правильно. Срок он получил заслуженно. Струсил. Растерялся. Тряпка – не летчик. В тот день звено И-16 старшего лейтенанта Антифеева было атаковано в ослепительно синем белорусском небе пятью «мессерами». Игорь воевал второй месяц, участвовал в воздушных боях, но с такими асами ему еще не приходилось встречаться. Они могли давно уже бросить «ястребок» Игоря или его друга Миши Стругунка догорать в привольной степи, но не спешили. Резвились, играли, как с мышатами, отрабатывали на русских парнишках приемы воздушного боя, словно в учебных полетах. Только в отличие от учебного самолеты имели полный боекомплект. Антифеев пытался вести бой. Уворачивался, стрелял, мазал. Наконец, измотанный наглостью и мастерством немцев, запаниковал. Его пулеметы истерично бились, беспорядочно выбрасывая очереди в тихое, невинное небо Белоруссии. А фрицы только смеялись, давая русскому юнцу фору в этой дикой игре со смертью. Наконец, у него почти кончились боеприпасы. Отчаянно рванувшись, «ишачок» Антифеева выскочил из гущи боя, бросив на растерзание асам своего ведомого. Немцы весело пустились вдогонку. Игорь закричал, завыл, забился в нервном припадке. Развернул истребитель и, как первоклассник, безумно бросающийся, размахивая слабыми кулачками, на шайку озорующих, издевающихся над ним старших хулиганов, отчаянно понесся навстречу врагу. Продолжая дико орать, закрыв глаза, он нажал на гашетку,

зная только одно: попасть нужно в самую гущу ненавистной стальной армады. Пулемет дернулся несколько раз и застыл в ужасе. Попал. Попал! Игорь открыл глаза... Лучше бы не открывал. К земле, заваливаясь на крыло, тянулся И-16 его друга Миши Стругунка. За самолетом, увеличиваясь с каждой секундой, ползла густая черная, траурная лента дыма. Немцы, одобрительно покачивая крыльями, разлетелись, испарились, словно и не было их. А может, и правда не было? Не было боя, не было паники, не было сбитого Миши Стругунка? И в этот миг сознание старшего лейтенанта Игоря Антифеева поглотилось чудовищным эхом наземного взрыва, ворвавшегося в уши вечным приговором: струсил, запаниковал, сбил своего. Друга. Однокурсника. Хорошего русского парня.

Проглатывая спазмы удушья, переламываясь в конвульсиях нервных судорог, Антифеев дотянул машину до своего аэродрома. Рапорт в руках особиста был лишен эмоций. Игоря арестовали. А где-то в кубанской яблочно-абрикосовой станице в этот день Мишина мама случайно разбила любимую тарелку младшего сына. И разрыдалась, не зная, что льет слезы не по бездушным черепкам, а по восходящей от пылающей земли к синеокому небу чистой еще душе ее доброго мальчика, так нелепо сгинувшего в ненасытной утробе прожорливого дракона по имени Война.

Игорь получил десять лет лагерей. Может быть, приняв порцию свинца в крылья и фюзеляж своей машины, был бы он прощен, но самолет Антифеева вернулся без единой пробоины. Снисхождения трусу и предателю быть не могло. Да он и не ждал снисхождения. Уже восемь месяцев ежедневно и еженощно вновь и вновь предает себя суду своей совести бывший старший лейтенант, бывший летчик, бывший друг, бывший гражданин. Вновь и вновь прокручивает его мозг, его память, его сердце каждую секунду того боя. Эх, вернуть бы все назад. Уж теперь-то он не оплошал бы. Теперь-то уж он знает, как нужно было действовать. Не по учебникам, не по лекциям в летном училище. Такому трудно научить, такое нужно выстрадать. Он выстрадал. Он готов дать бой гадам. Но никто не даст ему больше самолета, никто не даст ему оружия. Трусам, предателям нет веры! И как же теперь? Что же теперь-то? Так и будет он мстить фашистам в очередных сотнях воображаемых воздушных боев? Так и не очистит свою совесть? Не спасет свою душу? Однажды не выдержал, и хоть грел еще левую сторону его груди след от билета ленинского комсомола, пошел к отцу Константину, все, что болело, ему выложил, а почему – и сам сказать не мог. Даже в бой очередной батюшку взял, чтобы, есть уж там Бог или кто там еще, увидели все глазами смешного доброго попа и поняли, что раскаивается бывший комсомолец, готов искупить. Только бы дали шанс. Один шанс. Единственный. Вы, там, которые над землей, помогите. Господи, помоги! Не ради меня, ради Миши Стругунка, ради ребят погибших, ради Мишиной мамы, ради его, Игоря, мамы, которой стыдно теперь ходить по улицам родного города, ведь тычут в нее пальцами ранние вдовы и малютки-сироты – вот идет мать предателя. Ради бабушки Игоря, которая была верующая и

отказалась прятать родовую икону, висевшую в красном углу, большую, древнюю. Услышь, Господи, я, самый ничтожный человечек, трус и предатель, взываю к Твоей милости! Услышь меня...

Было это еще в феврале. И вот теперь старший лейтенант Антифеев стоял в шеренге лагерников под дулами автоматов немецких десантников, а под бушлатом его был готов вступить в бой пистолет убитого майора, который Игорь подобрал сразу, едва упав в котлован. Одному, конечно, будет не просто, наверняка его сразу убьют. А это плохо. Не потому, что убьют – предателям туда и дорога, а потому, что сразу. Не имеет он на это права. Он должен как можно больше гадов с собой на тот свет увести. Нужно подумать. Хорошо подумать. Думай, думай, бывший военлет, только быстрей. Другого такого шанса у тебя может не быть.

8

А теперь, уважаемый читатель, с Вашего разрешения я сделаю маленькое отступление от своего рассказа. Смотрел «Жертвоприношение» Тарковского и рыдал. Не над сюжетом, над кистью художника, над этим чудом Божественного дара, над гармонией светотеней и кадров, оживающих независимо от мастера, придумавшего эту гармонию. Я рыдал и порывался сжечь свою бездарную рукопись. Так часто бывает со мной, когда душа прикасается к Живому, Настоящему, Истинному. Что это? Зависть? Трезвая оценка своих ничтожных потуг называться русским литератором? Или нормальная реакция на рожденное талантом гения совместное с Богом творение? Почему же мои герои вымучены, почему краски наивны и тусклы, почему язык мой тяжел, как предсмертная песня отработавшего свой моторесурс дизеля от списанного бульдозера? Может, не писать? Может, правда, сжечь все свои рукописи, может, задушить в себе мельчайшие крупицы таланта, если, конечно, они есть? Но как же мои герои? Мой добрый священник, мой чистый былинный Алеша, мой неотомщенный летчик, мой нераскаявшийся вор? Бросить, сжечь? И кто, кроме меня, сможет восстановить кресты на мертвых главках собора моей души, кто наполнит застывший в мартовском свинцовом безмолвии древний монастырь русского духа пасхальной апрельской радостью? Простите. Прости, читатель, можешь забросить корявую мою писанину в ящик для макулатуры, но предать свою повесть, свой полумертвый, сотворенный больным сердцем мир я не могу. Прости меня, Господи!

9

Желающих идти с немцами доблестным маршем, освобождая северные русские земли от сталинской тирании, чегой-то было немного. Не осознали, видать, пока глупые русские каторжники всей прелести и важности предстоящей миссии. Вызвались пока лишь двое: дезертир и мрачный мужичонка из раскулаченных. Вообще-то немцев это не сильно огорчило. Может быть,

надеялись они пополнить свои ряды за счет лагерников чуть позже, кого уговорив, кого припугнув, а кого и попросту заставив, а может, и не всеобщее восстание вовсе было их целью. Да и воевать с советскими войсками двумя десятками автоматов – по меньшей мере неумно. Значит – это только пробный десант, разведка, которая должна подготовить плацдарм для высадки основных сил. А может, и не будет никаких других сил? Ну, поднимут они лагерников, те побузят, в войнушку поиграют, а немцы под шумок парочкой крупных диверсий фронт пошатнут, и вовсе не там, где лагерники бузить будут. Хотя, какие здесь могут быть диверсии? Чего взрывать-то? Какие объекты? На сотню километров тайга, болота да ледяное равнодушие. Чего же они хотят-то? Неужели, правда, революцию? Так рассуждал Игорь Антифеев в бараке, куда наконец согнали лагерников немцы. Это был некогда братский корпус. Раньше здесь, как и положено, размещался один отряд, теперь же немцы согнали сюда всех арестантов. Было тесно и душно. К ночи лагерники стали укладываться на нары. И ведь, что интересно, еще вчера, если бы прежнее лагерное начальство вот так же согнало бы всех в один барак, места на нарах заняли бы исключительно уголовники, оставив политических ночевать на полу, а то и на ногах. Сегодня же сами уголовники, словно понимая необычность момента, решили установить очередность ночевки. Дождавшись своей очереди, Антифеев улегся на доски, рядом примостился Комар. Лагерники засыпают почти мгновенно, кроме отца Константина, конечно, который творит по ночам молитву, но Антифееву не до сна. Он прокручивает в голове возможные варианты дальнейших событий. Вдруг в ухо ему зашептали. Комар.

– Слышь, летун, я ведь видел, как ты пистолетик майора подобрал. Нехорошо. Табельное оружие.

Игорь потянулся было рукой к бушлату.

– Не спеши, летун. Я ведь могу шум поднять. Парашютисты сбегутся. Схватют тебя и, как давеча полковничка нашего: «та-та-та».

– Чего тебе надо?

– А тебе? Чего делать-то решил?

Антифеев снова потянулся рукой к пистолету.

– Да не спеши ты. Все одно ведь не успеешь.

– Успею.

Игорь сунул руку за пазуху... И не нашел пистолета.

– Уж не это ли, соколик сталинский, вы, пардон, искать изволите?

Комар ткнул холодом ствола во впалую щеку Антифеева.

– Вот гад, украл.

– Не гад, а вор. Высшей квалификации. Хе. И как же ты с ними со всеми один воевать собрался?

Игорь промолчал.

– Чего молчишь-то? Небось, так же, как на фронте – целюсь по фрицу, а попадаю по своим? Так? Ну-ну, задергался. Нервный. Сейчас нажму на крючочек – и хана твоим нервишкам вместе с мозгами коротенькими. Хе. Герой. Ледчик. На, держи свой ливорвер. Да покрепче. Другой раз не отдам.

Игорь приклеил ладонь к рукоятке. Нестерпимо захотелось пристрелить ворюгу, но он сдержал себя. Сунул пистолет за пазуху, не разлучая его со своей рукой.

– Слышь, летун, ты ведь и впрямь решил в войнушку поиграть? Чего молчишь? Вот объясни, зачем тебе это надо?

– Не поймешь.

– А ты постарайся, чтобы понял.

– Зачем?

– Да так. Может, у меня тоже желание проснется в войнушку поиграться.

– Мы их на нашу землю не звали, – сказал Игорь, помолчав.

– А если они и впрямь свободу несут? Мне откровенно до фени, кто там у власти: Сталин, или Гитлер, или царь-государь. Мне всегда хорошо будет, только бы у людишек кошельки водились.

– И тюрьмы были.

– А что? И тюрьмы тоже. Я здесь сыт и пьян, в отличие от таких правильных, как ты. Отсижу еще годик – и на волю к денежкам и девочкам. А тебя здесь сгноят. Я вор, а ты враг народа. Предатель. Так какой смысл тебе воевать за вашего Сталина?

– А если не за Сталина? Если за матерей, за вдов, за сирот, за мальчишек погибших, за девчушек невинных, над которыми в двенадцать лет надругались...

– Ты меня не агитируй. Это я и так знаю. На то она и война. Лес рубят, знаешь, щепки летят.

– Тогда я тебе вот что скажу. Может быть, и Сталин не Бог, может, и я дерьмо, но у всех у нас, у такого вот дерьма, кроме Сталина, есть еще Родина. Не пустой звук, нет. Что кошельки? Мы жизни свои отдаем за нее, за Родину. И это то, чего нет у тебя. Ты, может быть, ас-карманник, ты, может, лучший среди воров, воровской король, властелин чужих кошельков, но никогда не сможешь вот так легко, как мы, пожертвовать жизнью за Родину и испытать при этом величайшее счастье. Никогда. Вот ты меня летуном называешь, а летун – это ты. Комар. У тебя даже имени нет. Тебе и в Москве хорошо, и в тюрьме, и в Германии, наверное. Нет у тебя Родины. А у меня, у дерьма предательского, есть. И ты со всеми своими кошельками никогда не будешь так счастлив, как я, когда завтра умру за свою Родину. Хе. Я же сказал, что не поймешь. Ладно. Спи.

Комар хотел было ответить, даже выругаться чернее черного, но отвернулся от собеседника, закрыл глаза и долго еще лежал, пытаясь сном изгладить лажу в душе от дурацкой трепотни летуна-предателя.

Утром их снова вывели на плац. Теперь обер-лейтенант, шпрехавший по-русски, был более настойчив в уговорах и угрозах. За ночь он успел покопаться в лагерной канцелярии, пересмотреть несколько десятков личных дел политзаключенных и теперь делал на это упор, ведь почти за каждым арестом «политических» было много несправедливости, куча неувязок и море откровенной лажи. Обер-лейтенант снова предлагал свободу, но теперь рядом с этим не очень понятным словом соседствовало другое, куда уж более понятное – жизнь. Всех же, кто не пойдет воевать за свободу по германскому образцу, увы, ждет еще одно знакомое слово – смерть, и все, что за этим словом стоит. Желающих пополнить дружные ряды вчерашних добровольцев было на одного меньше, чем вчера. Обер-лейтенант и майор – очевидно, командир десантной группы, – были мрачны. Лагерников снова загнали в барак. Антифеев во время этого спектакля успел заметить, что

немцев в монастыре всего с десяток. Очевидно, часть десантников ночью куда-то подалась. Это был шанс. Тот самый, единственный. Тем более что похоронную команду, которая вчера долбила котлован для братской могилы, немцы послали долбить новые могилы для погибших десантников. Надо было выкопать в ледяной земле четыре ямы. Значит, ночью от ран умер еще один, впридачу к трем, погибшим от пуль НКВДешников. Немцы отвели копальщиков подальше от монастыря, чтобы доблестные немецкие солдаты и близко не лежали с варварами. Охранников было двое. Антифеев понял, что медлить больше нельзя и, когда один из автоматчиков повернулся спиной, а второй стоял к нему боком, ломом, которым только что долбил гранитный грунт, ударил бокового по каске. Но то ли ослаб он сильно, то ли каска оказалась чересчур крепка, то ли увидел фашист боковым зрением рушащийся на него лом, только не отключился он, зарычал лишь утробно, заваливаясь на бок, а руки уже привычно готовили автомат к стрельбе. Антифеев знал, что жить ему осталось меньше секунды, и прыгнул на немца. В эти полсекунды забыл он, что из пистолета можно стрелять, а потому принялся душить противника. Полсекунды прошли. На шум обернулся второй немец. Вот и все, старший лейтенант Игорь Антифеев. Вот и не отомстишь ты гадам за друга Мишу Стругунка, за Родину свою любимую да и за себя горемычного. Это тебе не в самолете пируэты выписывать. Автомат как-то даже лениво приготовился к огненному экстазу пулеизвержения. Но выстрелам не суждено было потревожить мартовский сон русского севера, лишь два глухих удара ломом по каске поглотились белым туманом беззвукости. Второй немец ткнулся в земельно-ледяное крошево и умер. Над ним, сжимая намертво в руках лом, удовлетворенно улыбался известнейший московский карманник по кличке Комар, первый раз в жизни убивший сейчас человека. Первого немца Игорь все-таки задушил. Трудно объяснить почему, но фашист так же, как и Антифеев, забыл, когда его схватили за горло, что автомат умеет стрелять. Итак, у них теперь было два автомата, пистолет, старший лейтенант советских военно-воздушных сил, воровской авторитет Комар, русский православный поп, чистоглазый попенок, еврейский учитель с неопределенной фамилией и чабан-черкес, умевший хорошо резать баранов, но никогда не резавший людей. Ему, кстати, достался массивный немецкий кинжал. Второй кинжал, кроме автомата, взял себе Антифеев. У Комара тоже был автомат, а пистолет вручили Алеше.

– Ты стрелять-то хоть умеешь, поджигатель? – сдерживая издевку, спросил Комар.

– Умею. Там, до ареста... В тире стрелял.

– Ну-ну.

Комар оглядел сотоварищей, усмехнулся, сплюнул криво сквозь зубы и решительно, никому – себе, произнес:

– Значится, повоюем.

Уже разрезали жаворонки ночную мглу вольными своими крылами, уже разгоняли нетерпеливые кони утренний туман густыми своими хвостами, уже форель, плескаясь в легких струях речного покоя, привела Вселенную в движение, уже простер Господь длань свою над неприметной Вожею рекой. Так уж повелось, судьба России решается на маленьких речушках, коих тысячи на русских просторах. На Калке погибла наша земля от меча непобедимого Чингисхана, на Сити разгромил Батый разрозненные русские полки, на Пьяне от руки Арапши пали забывшие ратную честь последние витязи Руси. Отучилась воевать обескровленная игом земля святорусская. Пали богатыри, сгинули в полоне храбрые. И казалось уже, что не воспрянуть, не оправить крылья, не поднять меча, не натянуть тетивы, но пролилась кровью, потом и слезами через двести лет рабства и позора по русским душам тихая речушка. Вожа. Земля Рязанская. Впереди, куда ни кинь глаз, – Золотая Орда щурит раскосые свои очи, позади – Москва теплит лампадку надежды на иконных ликах работы древних, домонгольских мастеров. Впереди – пепел и смрад, позади – благовест, и пахнет ладаном. Тут тебе и последняя битва. Тут тебе все – либо воля, либо смерть. Знает это великий князь Димитрий Иоаннович. Знает. В чистом вышел на сечу. Некуда будет отступать, не по степи некуда, по чести, по совести. Здесь умирать станем. Не в полоне, на русской земле, на русской реке. К смерти на Руси не привыкать, привыкнуть бы к жизни, к воле.

А Мамай силен, смел, честолюбив. Жаждет затмить славу великих предков. В дикой ярости узнал он, что разорили русичи Мордву – верных ордынских данников. Вихрем полетел на Нижний Новгород, круша, сжигая, заливая кровью. Взят город. Одним наскоком взят. Кто не успел бежать за Волгу – растоптан, посечен, огнем испепелен, собаками изъеден. От города и пепла не осталось – по степи развеян. А под стяги Мамая идут и идут новые полки со всей орды – рать небывалая, рать несокрушимая. Орда не щадит бунтарей. Орда любит покорных, хоть и гнушается ими. Суздальский князь хотел было откупиться дарами многими от неминуемого разорения. Да только все куницы, соболя, злато и жемчуг не пахнут кровью, не смердят, а Мамаю нужно заглушить обиду, утопить самолюбие именно в этих запахах войны. Океаном крови смоет глупая Русь безумство своего бунта. Молись, Москва, трепещи, Европа! Грядет новый властелин.

Горстка русских на Воже изготовилась к сече. Глупцы! Валуну не остановить селевого потока, парусу не укротить штормовое буйство. Часы Димитрия сочтены. Мурза Бегич послан с полками принести головы безумных русских ратников. Вожа. Как чисты и прохладны горячие струи твои. Прости, Христа ради, Земля русская! В руце твои, Господи, предаем дух наш.

Бегич перешел реку.

То не сотня громов нарастающим эхом перекликнулись по речным берегам, то не тьма ворон прокричала над Вожею разом свою зловещую песнь – то с яростным

воплем ринулась на русичей, взрывая уши, круша глаза, бессчетная лавина татарских конников. Тысячи смертей на лезвиях их мечей уже сладко томились, выбрав себе жертву по вкусу.

Миллион стрел смерчем обрушился на бунтарей. В таком вихре не может быть уцелевших. Бегите, русские зайцы, мы порубим вас в степи, как на ханской охоте. Весело! Хвала аллаху за эту охоту! Но что это? Стоят русские. Не пали, не бегут. Стоят!!! От неожиданности Бегич пошатнулся в седле – первый раз в жизни. Велел сменить галоп на рысь. Что с русскими? Почему не спасают они свои собачьи жизни, прячась за степными буграми в заливных травах? Почему реют их стяги в смертельной решимости победить? Будет жаркая сеча. Что же, это даже интересно. Это даже забавно. Вот они. Уже хорошо видны их лица. Вот князь Димитрий в центре. Вот на флангах князь Даниил и окольничий Тимофей. Спокойны. Нет страха в этих глазах и лицах. Ну, да храни, аллах! Рубить поганых!

И тут Димитрий подал условный знак: широко и уверенно крестом рассек его меч испуганный воздух между двумя ратями – и русские ринулись на врага. Их натиск так скор и решителен, что дрогнули татары, открыли щели в ладных своих порядках, приплюснули авангард, рассеяли фланги. И пошла потеха. Ух, как изголодались русские мечи по вражьей кровушке, ух, как истомились русские плечи по славной рубке, ух, как обрадовались кони буйству великой сечи. Звенят клинки, ломаются щиты да шеломы, трещат копья, разучивают соло ратной песни топоры да булавы. Быстроту и натиск несут на своих плащах русские князья. Сам Димитрий рубится с сотнями. А над Вожей, только взгляни, простерта длань Господня. Но некогда взглянуть, время одним умирать, другим победу пожинать. Бегут татары. К реке бегут. Укрыться за прохладой, за ночью, за временем. Да куда! Отступило время от них, Господь же с нами. Тонут ханские ратники в красных от заката и крови водах Вожи. Тысячами тонут. Но и переплывших не ждет пощада. Далеко гонят их русичи по степи, половиня всадников до седел. Только ночь и густая тьма спасли жалкие остатки поверженных мамаевых полчищ.

Вожа! Река русских надежд. Надежда русских рек. В твоих водах смыли свой позор Калка, Каяла, Сить и Пьяна. Из тебя отныне берут истоки Дон, Непрядва, Угра и даже Волга. Будь же славна во веки веков! Навеки русская! Вожа.

11

К монастырю подошли в густых сумерках. Часовой у святых врат окликнул по-немецки:

– Стой! Кто идет? Шульц, ты?

– Я, – по-немецки ответил учитель Троцкий.

– Почему так поздно? Майор хотел уже высылать разведку.

– Земля твердая. Вечная мерзлота. Пришлось повозиться. Открывай давай.

Ворота скрипнули, показался часовой. Кинжал немецкий оказался хорош. Вошел легко. Бислан Нагоев даже удивился, хотя как входит кинжал в человеческое тело, он до этого дня не знал.

Ну, не приходилось ему еще резать людей. Хе. Людей? А они люди? А мы люди? А я? Ну все. Хватит рассуждать, командуй, старший лейтенант.

– Скорее к караулке. Комар, Троцкий, Нагоев, за мной! Отец Константин, ты давай к бараку, поднимай людей, ты сумеешь. Алексей, в тире хорошо стрелял? Станешь за той стеной, будешь держать на прицеле башенного часового. Если начнет рыпаться, стреляй. Ну, как говоришь, отец, с Богом, что ли?

– С Богом, сынок.

И батюшка истово, со слезой, перекрестил всех, даже черкеса Нагоева.

– Все. Пошли.

Путь к караулке лагерники могли найти с закрытыми глазами. К счастью, часового с наружной стороны двери не было, и даже сама дверь оказалась незапертой. Игорь ударил ее ногой. В караулке находилось пятеро десантников. При свете свечей их хорошо было видно. Появление вооруженных арестантов было для них полной неожиданностью. Впрочем, недаром их готовили к десанту. Испуг и удивление были секундными, даже еще меньшими. Один из них уже в следующий миг метнул в гостей табуретом, второй кинулся к пирамиде автоматов. И тогда лагерники стали стрелять. В упор. По ползающим и извивающимся фрицам. Монастырь содрогнулся от грохота. Рев автоматов оглушил стрелявших, продолжавших давить спусковые крючки автоматов и после того, как в рожках кончились патроны. Услышав пальбу, часовой на башне заволновался, схватил трубку телефона, судорожно раскрутил рукоятку вызова, пытаясь связаться с караулкой. Не дождался ответа, бросил трубку. Несколько раз крикнул по-немецки: «Стой!» Опять тишина. Только северная мгла кругом, да страх надвигается на башню со всех сторон. Часовой дал очередь вверх, разгоняя испуг. Хорошо, что в руках верный автомат. Ну, подходите, кто там! Так просто баварского парня вам не взять. Немец выстрелил еще раз. Вспышки на секунду высветили его в вечерней мгле, а Алеша все-таки хорошо стрелял до ареста в тире.

Уговаривать лагерников отцу Константину не пришлось.

– Братья! – произнес он, сбив камнем замок с барачной двери и войдя внутрь. – Братья... и сестры...

Давно, ох, как давно не читал он проповедей с амвона, давно не слетали с его губ эти родные слова: «братья и сестры». И лагерники не обиделись. Ни на братьев, ни даже на сестер. По взволнованному лицу попа они видели, что свершается нечто важное.

– Братья и сестры. Мы решили дать немцам бой. Вот ведь как. В священном писании сказано: «Нет большей любви, нет большего счастья, как если кто положит душу свою за други своя, за близких», – за русских людей значит. И там сейчас наши братья бьются с парашютистами. С врагами, вот ведь какое дело. Кто из вас готов помочь и может положить голову свою за други своя, за Русь, за Россию?

И отец Константин заплакал. Сквозь слезы он сумел выговорить только:

– Господь с нами! Идемте же. Это счастье – умереть за правду. Вот, стало быть, как.

Уговаривать больше не надо было никого. Пошли все, даже матерые уголовники – грабители,

убийцы и насильники. Может, уже завтра часть из них разбежится по таежным нехоженностям, радуясь свалившейся на голову свободе, но сегодня они готовы бежать за смешным старичком-священником в пасть львиную, печь огненную. Сегодня они готовы умереть за забытую, но где-то, в дальних глубинах души, еще, очевидно, теплящуюся правду. Правду, которую по-настоящему, может, знает лишь этот старичок, роднее которого для них нет сегодня человека.

Антифеев пересчитал убитых:

– Пятеро здесь. Двое в тайге. Один у ворот. Один на башне. Нет двоих – майора и переводчика. Что будем делать?

– Слышь, старлей, а ведь майор где-то здесь. Дверь в караулку была не заперта, значит, он недавно вышел и недалеко ушел.

– Молодчага, Комар, правильно мыслишь. Дождемся наших и осмотрим помещение.

– Дак чего ждать-то? Сами все сделаем. Тихо, без истерик.

На Комара словно нашел воровской раж. Он кошкой поплыл по мрачному коридору корпуса и исчез во тьме. В конце коридора, слева, был сортир. Возле двери Комар задержался. Он уже собирался так же, как давеча, распахнуть ногой дверь, как вдруг услышал стук. Вздрогнул, повел стволом автомата вокруг себя. Стук продолжался. И тут его осенило – это стучало его собственное сердце. Сотни, тысячи раз ходил Комар на свое воровское дело, но никогда, даже сопливым пацаненком не слышал стука собственного сердца. Почему-то ему стало досадно. Раж прошел. Но, назвавшись груздем, надо лезть в кузовок. Нога летит в дверь, и в следующую долю секунды навстречу выползает струя пламени.

– Че-че-че-че-че, – раскатисто прокатилось по коридору, посыпалось по ступенькам, выскочило во двор и болью ахнуло в сердце спешившего на помощь отца Константина.

Обожгло болью и Игоря. В эту секунду он вспомнил Мишу Стругунка. Чем-то они с Комаром похожи. Чем? Старлей рванулся по коридору. Сзади его пытался удержать Нагоев:

– Куда, командыр, умрешь...

Но Игорь вырвался. Он уже бросил однажды друга в минуту смертельной опасности и сейчас, когда выпал ему такой шанс очистить душу, не может он бросить раненого Комара. О том, что карманник, может быть, уже мертв, Антифеев не мог и думать. Вот и сортир. Игорь дико, по-звериному, орет и, нажимая на спусковой крючок, бросается в черную пустоту двери. Стреляет, стреляет, стреляет. В ответ пытались сыпаться пули, но попытка была робкой и неудачной. В рожке Игоря кончились патроны. Он схватил автомат и с размаху стал бить темную тушу, валявшуюся в глубине помещения. Остервенело, изо всех сил. А перед глазами все стояло лицо Миши Стругунка, отчего-то очень похожее на лицо карманника Комара.

А Комар умирал. Его перенесли в караулку, где было светло и тепло. Отец Константин не отходил от умирающего, который то ли бредил, то ли пытался что-то рассказать батюшке:

– Вот ведь... А он говорит, что нету... А она у меня есть... Это ведь не... Не кошельки чужие. Ведь так, отец?

– Так, сынок, так.

– Отец, я умираю?

– Что ты, что ты? Смерти нет. Человек не умирает, а успевает, засыпает, значит. Ты не бойся.

– Засыпает... Я счастлив, отец, а он не верил...

– Тебя как зовут-то, сынок?

– Кольша, Николай.

– Николай... У тебя замечательное имя. О тебе на небе дивный молитвенник есть.

– Есть... Есть у меня... Прости меня, отец... За все про...

Он не договорил начатой фразы, глубоко вздохнул, вытянулся и затих. Даже при свете свечей было видно, что на лице его застыла детская, блаженная улыбка. Лагерники скинули шапки, а Алеша, успевший навидаться на этом свете смертей, плакал взахлеб над этим чужим ему человеком, матерым ворюгой и уголовником, ставшим вдруг родным, словно единоутробный брат.

Над монастырем воцарилась последняя мартовская ночь. Лагерники вскрыли караульный арсенал, теперь оружие было у многих. Можно было организовать хорошую оборону, если немцы рискнут высадить основной десант. Несколько уголовников обшарили корпус и в одной из келий нашли прятавшегося переводчика. Вояка из него был никакой, поэтому взяли его без особых хлопот. Привели в караулку. Выглядел он неважно. Куда девалась былая бравада? Допрашивать его взялся Антифеев.

– Ну, так что, господин оберлейтенант, что вы хотели нам рассказать о доблестных германских войсках?

– Я... Ничего такого.

– А скромничать не надо. Рассказывайте. Цель вашего десанта?

– Восстание уголовников... Простите, несправедливо заключенных в сталинские лагеря.

– Только-то?

– Так точно.

– Значит, никакой ценности вы для нас не представляете, а жаль. Придется вас расстрелять, и прямо сейчас.

– Зачем же расстреливать? Я... готов... оказать... сотрудничать...

– Цель десанта? Живо!

– Восстание... Ну, это отвлекающий маневр. Одновременно с началом восстания в крупных северных городах должна высадиться группа разведчиков и диверсантов.

– Так. Хорошо. Места высадки, количество групп, общая численность десанта? Не торопитесь. Хорошо подумайте и рассказывайте все, что знаете.

Пока Антифеев допрашивал обер-лейтенанта, случилось любопытное происшествие: лагерники нашли в рюкзаках убитых десантников коньяк в аккуратных бутылочках-фляжках. Хотели тут же на радостях распить, отметив победу, но бугры не дали.

– Это еще не победа. Побьем фрицев и, прежде чем разбежаться по волюшке, отпробуем фашистского напитка.

К утру Антифеев провел военный совет

– Обер-лейтенант сообщил, что в самое ближайшее время нужно ждать новый десант, до ста человек. Одним нам не устоять. Нужна подмога. Да и сведения кое-какие необходимо срочно передать в Москву. Жаль, рация испорчена. Расстреляли мы ее в суматохе. Алеша, пойдешь в вахтовый поселок. Вот карта. Немецкая, правда, но точная. С тобой пойдет учитель Троцкий. Как, товарищи, дойдете? Идти нужно на лыжах. Вот здесь на карте обозначено зимовье, тут переночуете. Дойти нужно во что бы то ни стало. Даже мертвыми.

Ясно задание? Возьмете автомат и два кинжала. Ну, а мы, товарищи лагерники, будем ждать небесных гостей. Нужно подготовить достойную встречу.

Сборы были короткими. Меньше чем через час Алексей Леонтьев и Соломон Троцкий-Бронштейн шагали на лыжах в поселок. К своим...

12

— Очухался, фашистская морда? Сдохнуть хотел? Нет, так легко ты не отделаешься. Придется ответить за все свои гнилые делишки перед советским судом.

Алеша осматривается. Сделать это ему не просто. Одним глазом он почти ничего не видит. Сильно заплыл и второй глаз. Жгучая боль в левой ноге мешает подняться. Его поднимают двое в форме сотрудников НКВД. Алеша начинает вспоминать. Итак, их отправили с Троцким в поселок. Шли они два дня. Слава Богу, снабдили их лагерники немецким пайком, да и карта немецкая была точна. Дошли. Померзли только чуть. Ну, да в лагере к морозам не привыкать. В поселке нашли дом с радиоантенной. Постучали. Бородатому геологу сообщили, что им срочно нужна связь с Москвой... Через двадцать минут в дом ворвались НКВДешники, не давая опомниться, стали бить лагерников. Били и после, когда на санях доставили в город. Все попытки Алеши и учителя объясниться вызывали только новую порцию побоев. Правда, к моменту прибытия специальной следственной группы из Москвы били и допрашивали только Алешу. Пытать учителя было уже бесполезно. Не выдержало сердце беззлобного бедняги Соломона. Впрочем, били Алешу не потому, что не верили его показаниям, а так, чтобы поставить на место. Ишь ты, мол, герой выискался. Враг народа, поджигатель, сын церковного антисоветского агитатора, племянник двуличницы, осужденный справедливым советским судом, – а пришел, как на парад, с автоматом, с немецкими трофеями. Нате, мол, принимайте, мы за вас, тыловые крысы, десант фашистский перебили, пока вы здесь ни сном, ни духом. Да только не тебе, сопля вредительская, нас уму-разуму учить. Органы большевистского возмездия не дремлют. К Севлагу уже был направлен карательный корпус НКВД для разгрома любого десанта и подавления любого мятежа. А ты, герой, скоро займешь подобающее место в вонючем бараке, если, конечно, доживешь.

В эти, Алеша не помнил сколько по счету, дни и ночи приснился ему всего один сон. Короткий, но невыразимо радостный.

* * *

Среброкрылые соколы чертят в поднебесье праздничные круги над полками, гордые барсы преклоняют главы на могучие лапы перед русскими стягами, любопытные зайцы, робея, провожают радостные ряды ратников. Ликуй и веселись, Земля! Салютуй зарницами, труби громами, возвещай ветрами, прославляй солнцем. Идут с победой русские герои. Идут славные женихи, венчанные на вольную жизнь с Вожею-рекою. Золотом сияют утомленные

шеломы, ранами гордятся посеченные щиты, хвастают стрелами надежные колчаны, сыты вражьей кровью мечи и топоры. Добром взирает на победителей Спас с хоругви. Слава! Слава князю! Слава храбрым воинам! Слава в вышних Богу! Живи, не бойся, Запад! Ликуй и веселись, Север! Пей допьяну вина свободы, Юг! По всем городам и весям победным шагом ступает слава Вожи. Проходит она и мимо молодого северного монастыря. Да и не монастырь это еще. Так, землянка мала, да срубчасовенка. И вот коснулась победная поступь пределов обители – и что это? Растут белокаменные стены, украшаются грозными башнями. На глазах возносятся к Богу сияющие главы монастырских соборов. Золото солнца вбирают в себя высокие кресты, щедро расплескивая его избыток на многие веси окрест. А сколько монахов! И лица их сияют, как кресты на куполах, не золотом, нет, славой Божией. Алеша, Алеша! Да ведь это твой монастырь. Без часовых, без лагерников. С высокой свечой колокольни – пасхальной радости, с ослепительным блеском чуда Воскресения Бога на медных колоколах. Пасха. Все-таки пришла она. Долгожданная. Пасха... Слава Богу за все!

Алеша проснулся совершенно счастливым.

13

Старший лейтенант Антифеев нервничал. Уже четверо суток прошло, как отправил он Леонтьева и Троцкого с донесениями на большую землю. Никакого ответа. Тихо. Ни десанта, ни подмоги. Да и лагерники потихоньку начинают бузить. Забили насмерть троих сотоварищей, вызвавшихся помогать немцам. Еще день-другой – и он не сможет их сдерживать. Напьются, разбегутся. Зря он дал им оружие. А как не дать? А если десант? Антифеев не может уснуть. Что делать, если уголовники начнут бузить по-крупному? Не позволю. Убьют? И пусть. И поделом. Так все равно ведь разбегутся. Надо еще раз поговорить с буграми. И что толку? Отца Константина они пока еще слушают. Он для них как родной отец. Но и это до поры. Что же делать? Где же Леонтьев? Может, не дошли? Может, нарвались на другую часть немецких парашютистов? Зачем я их вдвоем отпустил? Надо было дать еще людей. А как к этому отнеслись бы в Москве? Целая группа вооруженных лагерников покинула Севлаг. Это побег. Нет. Он все сделал правильно. Нужно ждать. Ждать.

– Командир, тревога!

Антифеев бросился на монастырскую стену. Здесь уже были вооруженные лагерники, подбегали новые. Оборону Игорь продумал тщательно, и буквально каждому втолковал, что и как нужно делать во время боя.

По всему периметру древней обители к стенам приближались люди в белых маскировочных халатах. Штурмовиков поддерживали артиллерийские орудия, где-то в тайге на просеке нарастал гул танковых двигателей. Ну вот, начинается.

– Ничего, братцы! Дадим прикурить фрицам. Авось наши успеют с подмогой.

– Командир, дак, кажись, это и есть наши.

– Как наши? Точно наши. Наши! Свои! Братцы!!

На башне, подняв вверх автомат, запрыгал от радости дозорный. Дал в воздух очередь – и тут же упал, сраженный сразу несколькими очередями. Приближавшиеся открыли плотный огонь. Вгрызаясь в вековые камни, обрушились на стены два снаряда.

– Как же это? Ведь наши же? А может, нет? Может, переодетые немцы? Точно! Огонь! Огонь! Огонь!!

Огненными вспышками украсились древние стены. Отчаянно закричали автоматы. То-то будет весело.

– Не стрелять! Не стрелять!! Прекратить огонь! Это наши. Наши!! Наши...

Огонь прекратился. Наступила напряженная тишина. И тут на стене в полный рост поднялся отец Константин.

– Братья! Товарищи, красные бойцы, не стреляйте! Немцев здесь нет. Немцев мы побили. Оружие сдадим. Мы свои. Мы – наши. Братья!

– По врагу народа огонь!

Автоматная очередь скосила старика. Он упал на спину. Антифеев, Нагоев и два уголовника бросились к нему.

– Ну все, отче, мы отомстим. Ну, мы им сейчас дадим, – горячился один из бугров.

– Отставить! Отставить, я сказал, – пытался командовать Игорь.

– Да пошел ты. Братва, слушай мою команду: по лягавым...

– Не стреляйте. Прошу вас. Не стреляйте. Ради меня не стреляйте. Ради Христа не стреляйте. Прошу вас. Это же НАШИ.

Уголовники молчали. И тогда вполголоса, но так, что услышали все, заговорил Игорь Антифеев:

– Братцы. Не можем мы стрелять в своих. Не фашисты мы. Не бунтари. Начнем стрелять – значит, поддались мы на их уговоры. Значит, десант победу одержал. Значит, напрасно погибли наши товарищи. Нельзя стрелять, братки. Не фашисты мы. Русские. Русские, понимаете, вот так.

Антифеев поднялся на стене в полный рост и бросил автомат вниз. Следом поднялся Нагоев, следом еще один политический, еще один, еще. Поднялся горячившийся бугор. За ним другой. Люди вставали, бросая оружие, не глядя на целившихся в них НКВДешников, устремив взгляд на небо, где в это время на них, размазывая детскими кулачками слезы по щекам, глядел счастливыми глазами умильный старичок с растрепанной бородой. А рядом с ним, почти у самого солнца, стоял весь в белом попович Алеша. Рядом лучился улыбкой еврей Соломон. Чуть дальше танкист, замерзший в братском котловане. А вот и Николай – бывший карманник. Во как сияет. Никто теперь не назовет его Комаром. А рядом встает чабан с Кавказа. Разве он убит? И бугор рядом, и Игорь Антифеев, и еще, еще, еще лагерники: политические и уголовники, безвинные и виноватые. Все. А небо синее – синее. И здесь совсем не слышна глупая монотонность пулеметно-автоматной песни. А весна все же наступила.

Сказать, что Мамай был в гневе – значит, не сказать ничего. Вся ярость остервенелого зверя обрушилась на головы жалких, подвернувшихся под руку. Схватив меч, он в щепу порубил гонцов, но это не принесло успокоения, напротив, приводило в еще большее бешенство. Меч, словно издеваясь, пел при каждом взмахе: «Вж-ж, вж-ж», а хану мнилось в этом зловещем пении русское: «Вож-жа, Вож-жа». Изрубленные клочки плоти и костей велел Мамай сжечь перед войском, но трещали в кострах дрова, напоминая стон сломанных копий. И новый приступ ярости схватил хана за сердце. Плеть в руке обрушилась на плечи и спины воевод. Трусы! Жалкие шакалы, клянущиеся в верности и преданности. Дохлая собака – цена вашей службе. Опозорили. На всю степь опозорили хана. Со времен великого Темучина не знала орда поражений от русичей. Теперь же вся Вселенная будет смеяться над ним. Над ним, кто хотел новым Чингисханом пройти по Европе, собирая повсюду щедрый урожай смертей, одевая время в кровь и пожары. Бешенство ломает хану руки, выклевывает глаза. Бегите, безумцы, кто посмел спинами и плечами измерить силу Мамаева гнева. Лучше бы не родиться вам, не знать молочно-кострового напева степей, не ловить ветры в неистовом лошадином галопе. И то ведь, конь – удел мужчины, удел шакала – вонючая падаль.

Ненасытна, беспощадна месть хана. Задушить, задавить, затоптать русских мятежников. Выжечь земли дотла, а пепел развеять по степям! Пусть забудутся в веках и народах презренные русские слова, песни, думы и сны. Трепещите, зайцы, не волк идет на вас, а волчья суть, волчья ярость, волчья злоба. Счастливы мертвые, не познавшие вкуса ханской мести. Готовься, Русь! Смерть вступает в твои пределы – и не будет никогда более христианского воскресения на твоих обреченных просторах. Рыдайте, церкви, набатом, это ваша последняя песня. Плачь, христианский Бог, час возмездия пробил. Пора!

Рязань взята без боя. Падальщик-князь бежал впереди своего трусливого войска. Ратников Димитрия и след испарился. Рязанские земли густо укутаны пожарами. Всюду смерть, смерть, смерть. И это только начало, только легкий краешек ненасытной ханской мести. То ли будет впереди? Впереди... Впереди Москва. Путь открыт. Завтра двинет хан свои полки на удел великого князя. Завтра пойдет, и будет, и есть гибель русской земли, народа, памяти. Завтра забудет Вселенная о Руси. Завтра вознесут купола мечетей и кипарисовая стройность минаретов по всей Европе серебряную песнь полумесяца к звездам и солнцу. Через десять лет на Косовом поле рухнет последний оплот восточного христианства, и все славянские земли покроются зеленым покрывалом. Золотая Орда станет Изумрудной. На пепелище древнего Киева, – матери русских городов, – просияет блеском зеленых самоцветов новая ордынская столица. Чудом уцелевшие славяне будут доживать свой жалкий век в собачьих будках, охраняя шатры людей, забыв свою презренную культуру, свою речь, умея лишь

лаять на цепи, выпрашивая помои с человеческих трапез. И не только славяне. Все. Все! Кто имел горе родиться не в ордынской степи обречены. Конечно, хан может и пожалеть иных. Мордву, крымчан, ясов, касогов, кавказских жидов, кого там еще. Эти рабы могут верной службой заслужить жизнь. В клетках своих совершая намаз, они все же будут жить, восхваляя великого хана за беспримерную милость. Всем остальным – смерть! И довольно слов. Завтра Мамай идет на Москву. Путь открыт. Молись, Русь, последний раз. За упокой своей глупой души. Завтра... Но хмур хан. Но точит ханское сердце тоска-кручина. Но злоба крушит зубы о зубы. Что толку в легкой победе? Разве так добывали великую славу Чингисхан и Батый? Разве в игрушечном набеге на беззащитные города заставляли они трепетать Вселенную от одного их имени? Хан должен вернуть славу Орде. Вернуть и приумножить. Он будет великим. Великим! Он затмит имена Темучина и Батухана. Он – Мамай, грядущий царь Вселенной. Он добудет себе славу в битвах, он высечет себе имя мечом, он очертит границы Орды кровавой кистью копья, он сокрушит безумных воителей Димитрия, посмевших называть себя воинами, копытами верного коня. Он будет поить меткие татарские стрелы жалкой кровью презренных русских шакалов до тех пор, пока не захлебнутся они в жутком сем потоке. Мамаю нужны битвы, нужны победы, нужна слава, иначе не видать ему шатра ордынского властелина, иначе будет он одним из тысяч мелких монгольских ханов, Рвет в досаде с головы шлем Мамай. Плетью в бешенстве ласкает верных слуг. Нет под Москвой русского войска. Нет на пути Димитрия.

Утром снялись ханские полки с выжженных рязанских земель и ушли назад, на Волгу. Через два года несметной лавиной двинется на Русь новое, стократ могущественнее, войско хана, чтобы в решающей битве добыть наконец Мамаю славу, честь и величие. Это будет, а пока... Пока на Дону начинает созревать русская конница. Пока в закатных струях Непрядвы начинает являться блеск русских мечей. Пока в шепоте птичьих крыльев над Куликовым полем все явственней слышно пение русских стрел. И пока об этом знает только один человек, слезно возносящий на Маковецком холме горячую молитву за Русь Православную ко Пресвятой Троице.

Господи, мой Боже! Владыка звезд и планет! Создатель неба и земли. Явивший человека в Образе Своем, а Себя в образе человеческом! Спаси грешную Твою Россию! Спаси заблудших Твоих сотаинников! Спаси церкви Твои, вознесшиеся к Твоему престолу в вековых молитвах отцов наших и прадедов. Прими взамен наши кроткие души, наши горькие слезы и кровавый пот позднего раскаяния за бессчетные грехи. Прости и помилуй, Господи, кроткую Россию. Да наследит, по слову Твоему, Русь не царство земное, но Твое Царствие. А впрочем, не как я хочу, но во всем да будет воля Твоя. Аминь.